

# Жизнь тьмы

МИХАИЛ БУЛГАКОВ

Собрание сочинений



---

Михаил Афанасьевич Булгаков

# КОПЫТО ИНЖЕНЕРА

# ЧЕРНОВИКИ РОМАНА

## Тетрадь 2.1928 — 1929[1]

# [ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ВОЛАНДА][2]

— Гм, — сказал секретарь[3].

— Вы хотели в Ершалаиме царствовать? — спросил Пилат по-римски[4].

— Что вы, челов... Игемон, я вовсе нигде не хотел царствовать! — воскликнул арестованный по-римски.

Слова он знал плохо[5].

— Не путать, арестант, — сказал Пилат по-гречески, — это протокол Синедриона. Ясно написано — самозванец. Вот и показания добрых людей — свидетелей.

Иешуа[6] шмыгнул высыхающим носом и вдруг такое проговорил по-гречески, заикаясь:

— Д-добрые свидетели, о игемон, в университете не учились. Неграмотные, и все до ужаса перепутали, что я говорил. Я прямо ужасаюсь. И думаю, что тысяча девятьсот лет пройдет[7], прежде чем выяснится, насколько они наврали, записывая за мной.

Вновь настало молчание.

— За тобой записывают? — тяжелым голосом спросил Пилат.

— А ходит он с записной книжкой и пишет[8], — заговорил Иешуа, — этот симпатичный... Каждое слово заносит в книжку... А я однажды заглянул и прямо ужаснулся... Ничего подобного прямо. Я ему говорю, сожги, пожалуйста, ты эту книжку, а он вырвал ее и убежал.

— Кто? — спросил Пилат.

— Левий Матвей, — пояснил арестант, — он был сборщиком податей, а я его встретил на дороге и разговорился с ним... Он послушал, послушал, деньги бросил на дорогу и говорит: ну, я пойду с тобой...

— Сборщик податей бросил деньги на дорогу? — спросил Пилат, поднимаясь с кресла, и опять сел.

— Подарил, — пояснил Иешуа, — проходил старичок, сыр нес, а Левий говорит ему: «На, подбирай!»

Шея у секретаря стала такой длины, как гусиная. Все молчали.

— Левий симпатичный? — спросил Пилат, исподлобья глядя на арестованного.

— Чрезвычайно, — ответил тот, — только с самого утра смотрит в рот: как только я слово произнесу — он запишет.

Видимо, таинственная книжка была больным местом арестованного.

— Кто? Что? — спросил Пилат. — За тобой? Зачем запишет?

— А вот тоже записано, — сказал арестант и указал на протоколы.

— Вон как, — сказал Пилат секретарю, — это как находите? Постой, — добавил он и обратился к арестанту: — А скажи-ка мне: кто еще симпатичный? Марк симпатичный?

— Очень, — убежденно сказал арестованный. — Только он нервный...

— Марк нервный? — спросил Пилат, страдальчески озираясь.

— При Идиставизо его как ударил германец, и у него повредилась голова...

Пилат вздрогнул:

— Ты где же встречал Марка раньше?

— А я его нигде не встречал.

Пилат немного изменился в лице.

— Стой, — сказал он. — Несимпатичные люди есть на свете?

— Нету, — сказал убежденно арестованный, — буквально ни одного...

— Ты греческие книги читал? — глухо спросил Пилат.

— Только мне не понравились, — ответил Иешуа.

Пилат встал, повернулся к секретарю и задал вопрос:

— Что говорил ты про царство на базаре?

— Я говорил про царство истины, игемон...

— О, Каиафа[9], — тяжко шепнул Пилат, а вслух спросил по-гречески: — Что есть истина? — И по-римски: — Quid est veritas[10]?

— Истина, — заговорил арестант, — прежде всего в том, что у тебя болит голова и ты чрезвычайно страдаешь, не можешь думать.

— Такую истину и я смогу сообщить, — отозвался Пилат серьезно и хмуро.

— Но тебе с мигренью сегодня нельзя быть, — добавил Иешуа.

Лицо Пилата вдруг выразило ужас, и он не мог его скрыть. Он встал с широко открытыми глазами и оглянулся беспокойно. Потом

задавил в себе желание что-то вскрикнуть, проглотил слюну и сел. В зале не только не шептались, но даже не шевелились.

— А ты, игемон, — продолжал арестант, — знаешь ли, слишком много сидишь во дворце, от этого у тебя мигрени. Сегодня же как раз хорошая погода, гроза будет только к вечеру, так я тебе предлагаю — пойдем со мной на луга, я тебя буду учить истине, а ты производишь впечатление человека понятливого.

Секретарю почудилось, что он слышит все это во сне.

— Скажи, пожалуйста, — хрипло спросил Пилат, — твой хитон стирает одна женщина?

— Нет, — ответил Иешуа, — все разные.

— Так, так, так, понятно, — печально и глубоко сказал, качая головой, Пилат.

Он встал и стал рассматривать не лицо арестанта, а его ветхий, многостиранный таллиф, давно уже превратившийся из голубого в какой-то белесоватый.

— Спасибо, дружок, за приглашение! — продолжал Пилат, — но только, к сожалению, поверь мне, я вынужден отказаться. Кесарь император будет недоволен, если я начну ходить по полям! Черт возьми! — неожиданно крикнул Пилат своим страшным эскадронным голосом.

— А я бы тебе, игемон, посоветовал пореже употреблять слово «черт», — заметил арестант.

— Не буду, не буду, не буду, — расхохотавшись, ответил Пилат, — черт возьми, не буду.

Он стиснул голову руками, потом развел ими. В глубине открылась дверь, и затянутый легионный адъютант предстал перед Пилатом.

— Да-с? — спросил Пилат.

— Супруга его превосходительства Клавдия Прокула[11] велела передать его превосходительству супругу, что всю ночь она не спала, видела три раза во сне лицо кудрявого арестанта — это самое, — проговорил адъютант на ухо Пилату, — и умоляет супруга отпустить арестанта без вреда.

— Передайте ее превосходительству супруге Клавдии Прокуле, — ответил вслух прокуратор, — что она дура. С арестованным поступят строго по закону. Если он виноват, то накажут, а если невиновен —

отпустят на свободу. Между прочим, и вам, ротмистр, следует знать[12], что такова вообще практика римского суда.

Наградив адъютанта таким образом, Пилат не забыл и секретаря. Повернувшись к нему, он оскалил до предела возможного желтоватые зубы.

— Простите, что в вашем присутствии о даме так выразился.

Секретарь стал бледен, и у него похолодели ноги. Адъютант же, улыбнувшись тоскливо, забренчал ножнами и пошел, как слепой.

— Секретарю Синедриона, — заговорил Пилат, не веря, все еще не веря своей свежей голове, — передать следующее. — Писарь нырнул в свиток. — Прокуратор лично допросил бродягу и нашел, что Иешуа Га-Ноцри психически болен. Больные речи его и послужили причиной судебной ошибки. Прокуратор Иудеи смертный приговор Синедриона не утверждает. Но, вполне соглашаясь с тем, что Иешуа опасен в Ершалаиме, прокуратор дает распоряжение о насильственном помещении его, Га-Ноцри, в лечебницу в Кесарии Филипповой при резиденции прокуратора[13]...

Секретарь исчез.

— Так-то-с, царь истины, — внушительно молвил Пилат, блестя глазами.

— А я здоров, игемон, — сказал бродяга озабоченно. — Как бы опять какой путаницы не вышло?..

Пилат воздел руки к небу, некоторое время олицетворяя собою скорбную статую, и произнес потом, явно подражая самому Иешуа:

— Я тебе тоже притчу могу рассказать: во Иордане один дурак утоп, а его за волосья таскали. Убедительно прошу тебя теперь помолчать, благо я тебя ни о чем и не спрашиваю, — но сам нарушил это молчание, спросив после паузы: — Так Марк дерется?

— Дерется, — сказал бродяга.

— Так, так, — печально и тихо молвил Пилат.

Вернулся секретарь, и в зале все замерли. Секретарь долго шептал Пилату что-то. Пилат вдруг заговорил громко, глаза его загорелись. Он заходил, диктуя, и писарь заскрипел:

— Он, наместник, благодарит господина первосвященника за его хлопоты, но убедительно просит не затруднять себя беспокойством насчет порядка в Ершалаиме. В случае, ежели бы он, порядок, почему-либо нарушился... Exeratus Romano metus non est notus...{1} и

прокуратор в любой момент может демонстрировать господину первосвященнику ввод в Ершалаим кроме того 10-го легиона, который там уже есть, еще двух. Например, фретекского и аполлинаретского. Точка.

«Корван, корван»[14], — застучало в голове у Пилата, но победоносно и светло.

И еще один вопрос задал Пилат арестанту, пока вернулся секретарь.

— Почему о тебе пишут — «египетский шарлатан»?

— А я ездил в Египет с Бен-Перахая три года тому назад, — объяснил Ешуа.

И вошел секретарь озабоченный и испуганный, подал бумагу Пилату и шепнул:

— Очень важное дополнение.

Многоопытный Пилат дрогнул и спросил сердито:

— Почему сразу не прислали?

— Только что получили и записали его показание!

Пилат впился глазами в бумагу, и тотчас краски покинули его лицо.

— Каиафа — самый страшный из всех людей в этой стране, — сквозь стиснутые зубы проговорил Пилат секретарю, — кто эта сволочь?

— Лучший сыщик в Ершалаиме, — одними губами ответил секретарь в ухо Пилата.

Пилат взвел глаза на арестованного, но увидел не его лицо, а лицо другое. В потемневшем дне по залу проплыло старческое, обрюзгшее, беззубое лицо, бритое, с сифилитической болячкой, разъедающей кость на желтом лбу, с золотым редкозубым венцом на плешивой голове. Солнце зашло в душе Пилата, день померк. Он видел в потемнении зеленые каприйские сады, слышал тихие трубы. И стукнули гнусавые слова: «Lex Apuleje de majestate»{2}. Тревога клювом застучала у него в груди.

— Слушай, Иешуа Га-Ноцри, — заговорил Пилат жестяным голосом. — Во втором протоколе записано показание, будто ты упоминал имя великого Кесаря в своих речах... Постой, я не кончил. Маловероятное показание... Тут что-то бессвязно... Ты ведь не упоминал этого имени? А? Подумай, прежде чем ответить...

— Упоминал, — ответил Иешуа, — как же!

— Зря ты его упоминал! — каким-то далеким, как бы из соседней комнаты, голосом откликнулся Пилат, — зря, может быть, у тебя и есть какое-то дело до Кесаря, но ему до тебя — никакого... Зря! Подумай, прежде чем ответить: ты ведь, конечно... — На слове «конечно» Пилат сделал громадную паузу, и видно было, как секретарь искоса смотрит на него уважающим глазом...

— Но ты, конечно, не говорил фразы, что податей не будет?

— Нет, я говорил это, — сказал светло Га-Ноцри.

— О, мой Бог! — тихо сказал Пилат.

Он встал с кресла и объявил секретарю:

— Вы слышите, что сказал этот идиот? Что сказал этот негодяй? Оставить меня одного! Вывести караул! Здесь преступление против величества! Я спрошу наедине...

И остались одни. Подошел Пилат к Иешуа. Вдруг левой рукой впился в его правое плечо, так что чуть не прорвал ветхий таллиф, и зашипел ему прямо в глаза:

— Сукин сын! Что ты наделал?! Ты... вы... когда-нибудь произносили слова неправды?

— Нет, — испуганно ответил Иешуа.

— Вы... ты... — Пилат шипел и тряс арестанта так, что кудрявые волосы прыгали у него на голове.

— Но, Бог мой, в двадцать пять лет такое легкомыслие[15]! Да как же можно было? Да разве по его морде вы не видели, кто это такой? Хотя... — Пилат отскочил от Иешуа и отчаянно схватился за голову, — я понимаю: для вас все это неубедительно. Иуда из Кариот симпатичный, да? — спросил Пилат, и глаза его загорелись по-волчьи. — Симпатичный? — с горьким злорадством повторил он.

Печаль заволокла лицо Иешуа, как облако солнце.

— Это ужасно, прямо ужас... какую беду себе наделал Искариот. Он очень милый мальчик... А женщина... А вечером!..

— О, дурак! Дурак! Дурак! — командным голосом закричал Пилат и вдруг заметался, как пойманный в тенета. Он то попадал в золотой пилящий столб, падавший из потолочного окна, то исчезал в тени. Испуганные ласточки шуршали в портике, покрикивали: «Искариот, искариот...»

Пилат остановился и спросил, жгуче тоскуя:

— Жена есть?

— Нет...

— Родные? Я заплачу, я дам им денег... Да нет, нет, — загремел его голос... — Вздор! Слушай, ты, царь истины!.. Ты, ты, великий философ, но подати будут в наше время! И упоминать имени великого Кесаря нельзя, нельзя никому, кроме самоубийц! [Слушай, Иешуа Га-Ноцри, ты, кажется, себя убил сегодня...] Слушай, можно вылечить от мигрени, я понимаю: в Египте учат и не таким вещам. Но ты сделай сейчас другое — помути разум Каиафы сейчас. Но только не будет, не будет этого. Раскусил он, что такое теория о симпатичных людях, не разожмет когтей. Ты страшен всем! Всем! И один у тебя враг — во рту он у тебя — твой язык! Благодари его! А объем моей власти ограничен, ограничен, ограничен, как все на свете! Ограничен! — истерически кричал Пилат и неожиданно рванул себя за ворот плаща. Золотая бляха со стуком покатилась по мозаике.

— Плеть мне, плеть! Избить тебя, как собаку! — зашипел, как дырявый шланг, Пилат.

Иешуа испугался и сказал умиленно:

— Только ты не бей меня сильно, а то меня уже два раза били сегодня...

Пилат всхлипнул внезапно и мокро, но тотчас дьявольским усилием победил себя.

— Ко мне! — вскричал он, — и зал наполнился конвойными, и вошел секретарь.

— Я, — сказал Пилат, — утверждаю смертный приговор Синедриона: бродяга виноват. Здесь laesa majestas[{3}], но вызвать ко мне... просить пожаловать председателя Синедриона Каиафу, лично. Арестанта взять в кордегардию в темную камеру, беречь как зеницу ока. Пусть мыслит там... — голос Пилата был давно уже пуст, деревянен, как колотушка.

Солнце жгло без милосердия мраморный балкон, зацветающие лимоны и розы немного туманили головы, и тихо покачивались в высоте длинные пальмовые космы.

И двое стояли на балконе и говорили по-гречески. А вдали ворчало, как в прибое, и доносило изредка на балкон слабенькие крики продавцов воды — верный знак, что толпа тысяч в пять стояла за лифостротоном, страстно ожидая развязки.

И говорил Пилат, и глаза его мерцали и меняли цвет, но голос лился, как золотистое масло:

— Я утвердил приговор мудрого Синедриона. Итак, первосвященник, четырех мы имеем приговоренных к смертной казни. Двое числятся за мной, о них, стало быть, речи нет. Но двое за тобой — Вар-Равван [он же Иисус Варрава], приговоренный за попытку к возмущению в Ершалаиме и убийство двух городских стражников, и второй — Иешуа Га-Ноцри, он же Иисус Назарет. Закон вам известен, первосвященник. Завтра праздник Пасхи, праздник, уважаемый нашим божественным Кесарем. Одного из двух, первосвященник, тебе, согласно закону, нужно будет выпустить. Благоволите же указать, кого из двух — Вар-Раввана Иисуса или же Га-Ноцри Иисуса. Присовокупляю, что я настойчиво ходатайствую о выпуске именно Га-Ноцри. И вот почему: нет никаких сомнений в том, что он маловменяем, практических же результатов его призывы никаких не имели. Храм оцеплен легионерами, будет цел, все зеваки, толпой шлявшиеся за ним в последние дни, разбежались, ничего не произойдет, в том моя порука. Vanae voces popule non sunt crudiendo[4]. Я говорю это — Понтий Пилат. Меж тем в лице Варравы мы имеем дело с исключительно опасной фигурой. Квалифицированный убийца и бандит был взят с бою и именно с призывом к бунту против римской власти. Хорошо бы обоих казнить, самый лучший исход, но закон, закон... Итак?

И сказал замученный чернобородый Каиафа:

— Великий Синедрион в моем лице просит выпустить Вар-Раввана.

Помолчали.

— Даже после моего ходатайства? — спросил Пилат и, чтобы прочистить горло, глотнул слюну: — Повтори мне, первосвященник, за кого просишь?

— Даже после твоего ходатайства прошу выпустить Вар-Раввана.

— В третий раз повтори... Но, Каиафа, может быть, ты подумаешь?

— Не нужно думать, — глухо сказал Каиафа, — за Вар-Раввана в третий раз прошу.

— Хорошо. Ин быть по закону, ин быть по-твоему, — произнес Пилат, — умрет сегодня Иешуа Га-Ноцри.

Пилат оглянулся, окинул взором мир и ужаснулся. Не было ни солнца, ни розовых роз, ни пальм. Плыла багровая гуща, а в ней, покачиваясь, нырял сам Пилат, видел зеленые водоросли в глазах и подумал: «Куда меня несет?..»

— Тесно мне, — вымолвил Пилат, но голос его уже не лился как масло и был тонок и сух. — Тесно мне, — и Пилат холодной рукой поболее открыл уже надорванный ворот без пряжки.

— Жарко сегодня, жарко, — отозвался Каиафа, зная, что будут у него большие хлопоты еще и муки, и подумал: «Идет праздник, а я которую ночь не сплю, и когда же я отдохну?.. Какой страшный нисан выдался[16] в этом году...»

— Нет, — отозвался Пилат, — это не от того, что жарко, а тесновато мне стало с тобой, Каиафа, на свете. Побереги же себя, Каиафа!

— Я — первосвященник, — сразу отозвался Каиафа бесстрашно, — меня побережет народ Божий. А трапезы мы с тобой иметь не будем, вина я не пью... Только дам я тебе совет, Понтий Пилат, ты когда кого-нибудь ненавидишь, все же выбирай слова. Может кто-нибудь услышать тебя, Понтий Пилат.

Пилат улыбнулся одними губами и мертвым глазом посмотрел на первосвященника.

— Разве дьявол с рогами... — и голос Пилата начал мурлыкать и переливаться, — разве только что он, друг душевный всех религиозных изуверов [которые затравили великого философа], может подслушать нас, Каиафа, а более некому. Или я похож на юродивого младенца Иешуа? Нет, не похож я, Каиафа! Знаю, с кем говорю. Оцеплен балкон. И вот, заявляю я тебе: не будет, Каиафа, тебе отныне покоя в Ершалаиме, покуда я наместник, я говорю — Понтий Пилат Золотое Копье!

— Разве должность наместника несменяема? — спросил Каиафа, и Пилат увидел зелень в его глазах.

— Нет, Каиафа, много раз писал ты в Рим!.. О, много! Корван, корван, Каиафа, помнишь, как я хотел напоить водою Ершалаим из Соломоновых прудов[17]? Золотые щиты, помнишь? Нет, ничего не поделаешь с этим народом. Нет! И не водой отныне хочу я напоить Ершалаим, не водой!

— Ах, если бы слышал Кесарь эти слова, — сказал Каиафа ненавистно.

— Он [другое] услышит, Каиафа[18]! Полетит сегодня весть, да не в Рим, а прямо на Капри. Я! Понтий! Забью тревогу. И хлебнешь ты у меня, Каиафа, хлебнет народ ершалаимский немалую чашу. Будешь ты пить и утром, и вечером, и ночью, только не воду Соломонову! Задавил ты Иешуа, как клопа. И понимаю, Каиафа, почему. Учуял ты, чего будет стоить этот человек... Но только помни, не забудь — выпустил ты мне Вар-Раввана, и вздую я тебе кадило на Капри и с варом, и со щитами.

— Знаю тебя, Понтий, знаю, — смело сказал Каиафа, — ненавидишь ты народ иудейский и много зла ему причинишь, но вовсе не погубишь его! Нет! Неосторожен ты.

— Ну, ладно, — молвил Пилат, и лоб его покрылся малыми капельками.

Помолчали.

— Да, кстати, священник, агентура, я слышал, у тебя очень хороша, — нараспев заговорил Пилат. — А особенно этот молоденький сыщик Юда Искариот. Ты ж береги его. Он полезный.

— Другого наймем, — быстро ответил Каиафа, с полуслова понимавший наместника.

— O gens sceleratissima, taeterrima gens! — вскричал Пилат. — O foetor judaicus{5}!

— Если ты еще хоть одно слово оскорбительное произнесешь, всадник, — трясущимися белыми губами откликнулся Каиафа, — уйду, не выйду на гаввафу[19].

Пилат глянул в небо и увидел над головой у себя раскаленный шар.

— Пора, первосвященник, полдень. Идем на лифостротон, — сказал он торжественно.

И на необъятном каменном помосте стояли и Каиафа, и Пилат, и Иешуа среди легионеров.

Пилат поднял правую руку, и стала тишина, как будто у подножия лифостротона не было ни живой души.

— Бродяга и тать, именуемый Иешуа Га-Ноцри, совершил государственное преступление, — заявил Пилат так, как некогда командовал эскадронами под Идиставизо, и слова его греческие

полетели над несметной толпой[20]. Пилат задрал голову и уткнул свое лицо прямо в солнце, и оно его мгновенно ослепило. Он ничего не видел, он чувствовал только, что солнце выжигает с лица его глаза, а мозг его горит зеленым огнем. Слов своих он не слышал, он знал только, что воет и довоет до конца — за что и будет Га-Ноцри сегодня казнен!

Тут ему показалось, что солнце зазвенело и заплавило ему уши, но он понял, что это взревела толпа, и поднял руку, и опять услыхал тишину, и опять над разожженным Ершалаимом закипели его слова:

— Чтобы знали все: non habemus regem nisi Caesarem{6}! Но Кесарю не страшен никто! И поэтому второму преступнику Иисусу Вар-Раввану, осужденному за такое же преступление, как и преступление Га-Ноцри, Кесарь император, согласно обычаю, в честь праздника Пасхи, по ходатайству Синедриона, дарует жизнь!

Тут он ничего не понял, кроме того, что воздух вокруг него стонет и бьет в уши. И опять рукой он потушил истомившуюся толпу.

— Командиры! К приговору! — пропел Пилат, и в стенах манипулов, отделявших толпу от гаввафы, в ответ спели голоса взводных и пискливые трубы.

Копейный лес взлетел у лифостротона, а в нем засверкали римские, похожие на жаворонков, орлы. Поднялись охапки сена.

— Tiberio imperante{7}! — запел слепой Пилат, и короткий вой римских центурий прокатился по крышам Ершалаима:

— Да здравствует император!

— Iesus Nazarenus, — воскликнул Пилат, — Tiberio imperante, per procuratorem Pontium Pilatum supplicio affectus erit{8}! Сына Аввы, Вар-Раввана выпустить на свободу!

Никто, никто не знает, какое лицо было у Вар-Раввана в тот миг, когда его подняли, как из гроба, из кордегардии на лифостротон. Этот человек ни на что в мире не мог надеяться, ни на какое чудо. Поэтому он шел, ведомый за правую здоровую руку Марком Крысобоем, и только молчал и улыбался. Улыбка эта была совершенно глупа и беззуба, а до допроса у Марка-центуриона Вар-Равван освещал зубным сиянием свой разбойный путь. Вывихнутая левая рука его висела как палка, и уже не ревом, а стоном, визгом покрыла толпа такую невиданную улыбку, забросала финиками и бронзовыми деньгами. Только раз в год под великий праздник мог видеть народ

человека, ночевавшего уже в объятиях смерти и вернувшегося на лифостротон.

— Ну, спасибо тебе, Назарей, — вымолвил Вар, шамкая, — замели тебя вовремя!

Улыбка Раввана была так трогательна, что передалась Иешуа, и он ответил, про все забыв:

— Прямо радуюсь я с тобой, добрый бандит, — иди, живи!

И Равван, свободный как ветер, с лифостротона, как в море, бросился в гущу людей, лезущих друг на друга, и в нем пропал[21].

* * *

Чтобы занять себя, Левий долго перебирал в памяти все известные ему болезни и очень хотел, чтобы какая-нибудь нашлась бы так-таки у Иешуа. Но чахотки самой верной так-таки и не было, да и других тоже. Тогда он, открывая очень осторожно правый глаз, минуя холм, смотрел на восток и начинал надеяться, что там туча. Но одной тучи мало. Нужно еще, чтобы она пришла на холм, нужно, чтобы гроза началась, а когда гроза начнется, и этого мало, нужно, чтобы молния ударила, да ударила именно в крест Иешуа. О, нет. Тут было мало шансов. Тогда Левий начинал терзаться мыслью о своей ошибке. Нужно было не бежать раньше процессии на холм, а именно следовать рядом, прилипши к солдатской цепи. И, несмотря на бдительность римлян, все-таки можно было как-нибудь прорваться, добежать, ударить Иешуа в сердце ножом... А теперь поздно.

Так он думал и лежал.

Адъютант же спешился у сирийской цепи, коневоду бросил поводья, прошел сквозь римское заграждение десятого легиона, подозвал центуриона и что-то пошептал ему.

Один из легионеров уловил краем уха слова:

— Прокуратора приказ...

Удивленный центурион, откозыряв, молвил:

— Слушаю... — и прошел за цепь к крестам.

С правого креста доносилась дикая хриплая песня. Распятый на нем сошел с ума от мук к концу третьего часа и пел про виноград что-то. Но головой качал, как маятником, и мухи вяло поднимались с лица, но потом опять набрасывались на него.

На левом кресте распятый качал иным образом, косо вправо, чтобы ударять ухом по плечу.

На среднем кресте, куда попал Иешуа, ни качания, ни шевеления не было. Прокачав часа три головой, Иешуа ослабел и стал впадать в забытье. Мухи учуяли это и, слетаясь к нему все в большем количестве, наконец настолько облепили его лицо, что оно исчезло вовсе в черной шевелящейся массе. Жирные слепни сидели в самых нежных местах его тела, под ушами, на веках, в паху, сосали.

Центурион подошел к ведру, полному водой, чуть подкисленной уксусом, взял у легионера губку, насадил ее на конец копья, обмакнул ее в напиток и, придвинувшись к среднему кресту, взмахнул копьем. Густейшее гудение послышалось над головой центуриона, и мухи черные, и зеленые, и синие роем взвились над крестом. Открылось лицо Иешуа, совершенно багровое и лишенное глаз. Они заплыли.

Центурион позвал:

— Га-Ноцри!

Иешуа шевельнулся, втянул в себя воздух и наклонил голову, прижав подбородок к груди. Лицо центуриона было у его живота.

Хриплым разбойничьим голосом, со страхом и любопытством, спросил Иешуа центуриона:

— Неужели мало мучили меня? Ты зачем подошел?

Бородатый же центурион сказал ему:

— Пей.

И Иешуа сказал:

— Да, да, попить.

Он прильнул потрескавшимися вспухшими губами к насыщенной губке и, жадно всхлипывая, стал сосать ее. В ту же минуту щелки увеличились, показались немного глаза. И глаза эти стали свежеть с каждым мгновением. И в эту минуту центурион, ловко сбросив губку, молвил страстным шепотом:

— Славь великодушного игемона, — нежно кольнул Иешуа в бок, куда-то под мышку левой стороны.

Осипший голос с левого креста сказал:

— Сволочь. Любимцы завелись у Понтия?

Центурион с достоинством ответил:

— Молчи. Не полагается на кресте говорить.

Иешуа же вымолвил, обвисая на растянутых сухожилиях:

— Спасибо, Пилат... Я же говорил, что ты добр...

Глаза его стали мутнеть. В этот миг с левого креста послышалось:

— Эй, товарищ! А, Иешуа! Послушай! Ты человек большой. За что ж такая несправедливость? Э? Ты бандит, и я бандит... Упроси центуриона, чтоб и мне хоть голени-то перебили... И мне сладко умереть... Эх, не услышит... Помер!..

Но Иешуа еще не умер. Он развел веки, голову повернул в сторону просящего:

— Скорее проси, — хрипло сказал он, — и за другого, а иначе не сделаю...

Проситель метнулся, сколько позволяли гвозди, и вскричал:

— Да! Да! И его! Не забудь!

Тут Иешуа совсем разлепил глаза, и левый бандит увидел в них свет.

— Обещаю, что прискачет сейчас. Потерпи, сейчас оба пойдете за мною, — молвил Иисус...

Кровь из прободенного бока вдруг перестала течь, сознание в нем быстро стало угасать. Черная туча начала застилать мозг. Черная туча начала застилать и окрестности Ершалаима. Она шла с востока, и молнии уже кроили ее, в ней погромыхивали, а на западе еще пылал костер и видно было с высоты, как маленькая черная лошадь мчит из Ершалаима к Черепу[22] и скачет на ней второй адъютант.

Левый распятый увидал его и испустил победный, ликующий крик:

— Иешуа! Скачет!!

Но Иешуа уже не мог ему ответить. Он обвис совсем, голова его завалилась набок, еще раз он потянул в себя последний земной воздух, произнес уже совсем слабо:

— Тетелеостай{9}, — и умер.

И был, достоуважаемый Иван Николаевич, час восьмой.

# ШЕСТОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

И был на Патриарших Прудах час восьмой. Верхние окна на Бронной, еще секунду назад пылавшие, вдруг почернели и провалились.

Иванушка фыркнул, оглянулся и увидал, что он сидит не на скамейке, а на дорожке, поджав ноги по-турецки, а рядом с ним сидят псы во главе с Бимкой и внимательно смотрят на инженера. С инженером помещался Берлиоз на скамейке.

«Как это меня занесло на дорожку», — раздраженно подумал Иванушка, поднялся, пыль со штанов отряхнул и конфузливо присел на скамейку.

Берлиоз смотрел, не спуская прищуренных глаз с инженера.

— М-да, — наконец молвил Берлиоз, пытливо поглядывая на своего соседа, — м-да...

— М-да-с, — как-то загадочно отозвался и Иванушка.

Потом помолчал и добавил:

— А что было с Иудой?

— Это очень мило, что вы заинтересовались, — ответил инженер и ухмыльнулся. — В тот час, когда туча уже накрыла пол-Ершалаима и пальмы стали тревожно качать своими махрами, Пилат сидел на балконе, с раскрытым воротом и задрав голову. Ветер дул ему в губы, и это приносило ему облегчение. Лицо Пилата похоже было на лицо человека, который всю ночь провел в непотребном кабаке. Под глазами лежали широкие синяки, губы распухли и потрескались. Перед Пилатом на столике стояла чаша с красным вином, а у ног простиралась лужа такого же вина. Когда подали первую чашу, Пилат механически швырнул ее в лицо слуге, молвив деревянно:

— Смотри в лицо, когда подаешь... Чего глазами бегаешь? Ничего не украл ведь? А?

На коленях Пилата лежала любимая собака — желтый травильный дог Банга[23], в чеканном ошейнике, с одним зеленым изумрудом. Голову Банги Пилат положил себе на голую грудь, и Банга лизал голую кожу приятеля воспаленным перед грозой языком.

Гробовая тишина была внутри дворца, а снаружи шумел ветерок. Видно было иногда, как тучи пыли вдруг вздувались над плоскими крышами Ершалаима, раскинутого у ног Пилата.

— Марк! — позвал Пилат слабо.

Из-за колонны, ступая на цыпочках и все-таки скрипя мохнатыми сапогами, выдвинулся центурион, и Пилат увидел, что гребень его шляпы достигает капители колонны.

— Ну что же он? — спросил Пилат.

— Уже ведут, — ответил Марк.

— Вот, — сказал Пилат, отдуваясь, — вы такой крупный человек. Очень крупный. А между тем подследственных калечите. Деретесь. Сапогами стучите. Впрочем... что ж... у вас должность такая. Плохая должность у вас, Марк.

Марк бульдожьими глазами поглядел на Пилата, и в глазах этих стояла обида.

Затем центурион отодвинулся, услышав сзади себя звук шагов. Пилат очень оживился. Из-за Марка вышла небольшая фигурка в военном плаще с капюшоном, надвинутым на лицо.

— Ступайте, Марк, и караульте, — возбужденно сказал Пилат.

Марк вышел, а фигурка аккуратно высвободилась из плаща и оказалась плотным бритым человеком лет пятидесяти, седым, но с очень розовым лицом, пухлыми щечками, приятными глазами. Аккуратненько положив плащ в кресло, фигура поклонилась Пилату и потерла ручки. Не в первый раз приходилось прокуратору видеть седого человечка, но всякий раз, как тот появлялся, прокуратор отсаживался подальше и, разговаривая, смотрел не на собеседника, а на ворону в окне. Ныне же Пилат обрадовался вошедшему, как родному брату, даже потянулся к нему.

— Здравствуйте, Толмай[24] дорогой, — заговорил Пилат, — здорово. Садитесь.

— Благодарю вас, прокуратор, — приятным голосом отозвался Толмай и сел на краешек кресла, все потирая свои чистые белые небольшие руки.

— Ну как, любезный Толмай, поживает ваша семья? — очень жадно и искренне стал спрашивать Пилат.

— Спасибо, хорошо, — приятно отозвался Толмай.

— В отделении ничего новенького?

— Ничего, прокуратор, нету. Один воришка.

— Слава Богу...

Ветер вдруг загремел на балконе, пальмы согнуло, небо от края до края распороло косым слепящим зигзагом и сразу плеснуло в лицо Пилату. Стало темно. Пилат приподнялся, оперся о балюстраду и вонзил свой взор вдаль. Но ничего уже не мог рассмотреть. Холм был виден вдали, но на нем косо лило и движения никакого не существовало. Маленькие черные крестики, которые целый [день] стояли в глазах Пилата, пропали бесследно. Блеснуло фиолетовым светом так, что на балконе стало видно до последней пылинки. Пилату показалось, что он увидел, как одинокий крохотный черный человечек карабкался вверх на холм. Но погас разрыв, все смешалось. Ударило над Ершалаимом страшно тяжко, и железные орехи вдруг швырнуло по крышам.

Над холмом уже клокотало, било и лило. Три голых трупа там уже плавали в мутной водоверти. Их трепало. А на незащищенный Лысый Череп действительно лез, срываясь ежесекундно и падая, весь в вязкой глине, до нитки мокрый, исступленный человек, левой рукой впиваясь в выступы, а правую не отрывая от пазухи с записной книжкой. Но из Ершалаима его никак не было видно. Все окрестности смешались в грозе.

Легионеры на балконе натянули тент, и Пилат с Толмаем беседовали под вой дождя. Лица их изредка освещало трепетно, затем они погружались в тьму.

— Вот какое дело, Толмай, — говорил Пилат, чувствуя, что под гром ему легче беседовать, — узнал я, что в Синедрионе есть замечательный сыщик. Э?

— Как ему не быть, — сказал Толмай.

— Иуда...

— Искариот, — докончил Толмай.

— Молодой мальчишка, говорят?

— Не стар, — сказал Толмай, — двадцать три года.

— А говорят — девятнадцать?..

— Двадцать три года три месяца, — сказал Толмай.

— Вы замечательный человек, Толмай.

— Благодарю вас, прокуратор, — сказал Толмай.

— Он где живет?

— Забыл я, прокуратор, надо справиться.

— Стоит ли, — ласково сказал Пилат. — Вы просто напрягите память.

Толмай напряг свою память, это выразилось в том, что он поднял глаза к набухшему тенту и сказал:

— В Золотом переулке в девятом номере.

— Говорят, хорошего поведения юноша?

— Чистый юноша.

— Это хорошо. Стало быть, за ним никаких преступлений нет?

— Нет, прокуратор, нету, — раздельно ответил Толмай.

— Так... Дело, знаете ли, в том, что его судьба меня беспокоит.

— Так-с, — сказал Толмай.

— Говорят, ему Каиафа денег дал?

— Тридцать [денариев].

— Тридцать?

.........................................

...Пилат снял кольцо с пальца, положил его на стол и сказал:

— Возьмите на память, Толмай.

И когда уже весь город заснул, у подножия Иродова дворца[25] на балконе в теплых сумерках на кушетке спал человек, обнявшись с собакой. Пальмы стояли черные, а мрамор был голубой от луны.

— Так вот что случилось с Юдой Искариотом, Иван Николаевич.

— Угу, — молвил Иванушка.

— Должен вам сказать, — заговорил Владимир Миронович[26], — что у вас недурные знания богословские. Только непонятно мне, откуда вы все это взяли.

— Ну так, ведь... — неопределенно ответил инженер, шевельнув бровями.

— И вы любите его, как я вижу, — сказал Владимир Миронович, прищурившись.

— Кого?

— Иисуса.

— Я? — спросил неизвестный и покашлял: — кх... кх, — но ничего не ответил.

— Только, знаете ли, в евангелиях совершенно иначе изложена вся эта легенда, — все не сводя глаз и все прищурившись, говорил Берлиоз.

Инженер улыбнулся.

— Обижать изволите, — отозвался он. — Смешно даже говорить о евангелиях, если я вам рассказал. Мне видней.

Опять оба писателя уставились на инженера.

— Так вы бы сами и написали евангелие, — посоветовал неприязненно Иванушка.

Неизвестный рассмеялся весело и ответил:

— Блестящая мысль! Она мне не приходила в голову. Евангелие от меня, хи-хи...

— Кстати, некоторые главы из вашего евангелия я бы напечатал в моем «Богоборце»[27], — сказал Владимир Миронович, — правда, при условии некоторых исправлений.

— Сотрудничать у вас я счел бы счастьем, — вежливо молвил неизвестный, — но ведь вдруг будет другой редактор. Черт знает, кого назначат. Какого-нибудь кретина или несимпатичного какого-нибудь...

— Говорите вы все какими-то подчеркнутыми загадками, — с некоторой досадой заметил Берлиоз, — впечатление такое, что вам известно не только глубокое прошлое, но даже и будущее.

— Для того, кто знает хорошо прошлое, будущее узнать не составляет особенного труда, — сообщил инженер.

— А вы знаете?

— До известной степени. Например, знаю, кто будет жить в вашей квартире.

— Вот как? Пока я в ней буду жить!

«Он русский, русский, он не сумасшедший, — внезапно загудело в голове у Берлиоза, — не понимаю, почему мне показалось, что он говорит с акцентом? Что такое, в конце концов, что он несет?»

— Солнце в первом доме, — забормотал инженер, козырьком ладони прикрыв глаза и рассматривая Берлиоза, как рекрута в приемной комиссии, — Меркурий во втором, луна ушла из пятого дома, шесть несчастье, вечер семь, в лежку фигура. Уй! Какая ерунда выходит, Владимир Миронович!

— А что? — спросил Берлиоз.

— Да... — стыдливо хихикнув, ответил инженер, — оказывается, что вы будете четвертованы.

— Это действительно ерунда, — сказал Берлиоз.

— А что, по-вашему, с вами будет? — запальчиво спросил инженер.

— Я попаду в ад, в огонь, — сказал Берлиоз, улыбаясь и в тон инженеру, — меня сожгут в крематории.

— Пари на фунт шоколаду, что этого не будет, — предложил, смеясь, инженер, — как раз наоборот: вы будете в воде.

— Утону? — спросил Берлиоз.

— Нет, — сказал инженер.

— Ну, дело темное, — сомнительно молвил Берлиоз.

— А я? — сумрачно спросил Иванушка.

На того инженер не поглядел даже и отозвался так:

— Сатурн в первом. Земля. Бойтесь фурибунды.

— Что это такое фурибунда?

— А черт их знает, — ответил инженер, — вы уж сами у доктора спросите.

— Скажите, пожалуйста, — неожиданно спросил Берлиоз, — значит, по-вашему, криков «распни его!» не было?

Инженер снисходительно усмехнулся:

— Такой вопрос в устах машинистки из ВСНХ был бы уместен, конечно, но в ваших!.. Помилуйте! Желал бы я видеть, как какая-нибудь толпа могла вмешаться в суд, чинимый прокуратором, да еще таким, как Пилат! Поясню, наконец, сравнением. Идет суд в ревтрибунале на Пречистенском бульваре, и вдруг, вообразите, публика начинает завывать: «Расстреляй, расстреляй его!» Моментально ее удаляют из зала суда, только и делов. Да и зачем она станет завывать? Решительно ей все равно, повесят ли кого или расстреляют. Толпа, Владимир Миронович, во все времена толпа — чернь, Владимир Миронович!

— Знаете что, господин богослов! — резко вмешался вдруг Иванушка, — вы все-таки полегче, но-но, без хамства! Что это за слово — «чернь»? Толпа состоит из пролетариата, месье!

Глянув с большим любопытством па Иванушку в момент произнесения слова «хамство», инженер тем не менее в бой не вступил, а с шутовской ужимочкой ответил:

— Как когда, как когда...

— Вы можете подождать? — вдруг спросил Иванушка у инженера мрачно, — мне нужно пару слов сказать товарищу.

— Пожалуйста! Пожалуйста! — ответил вежливо иностранец, — я не спешу.

Иванушка сказал:

— Володя...

И они отошли в сторонку.

— Вот что, Володька, — зашептал Иванушка, сделав вид, что прикуривает у Берлиоза, — спрашивай сейчас у него документы...

— Ты думаешь?.. — шепнул Берлиоз.

— Говорю тебе! Посмотри на костюм... Это эмигрант-белогвардеец... Говорю тебе, Володька, здесь Гепеу пахнет... Это шпион...

Все, что нашептал Иванушка, по сути дела, было глупо. Никаким ГПУ здесь не пахло, и почему, спрашивается, поболтав со своим случайным встречным на Патриарших по поводу Христа, так уж непременно необходимо требовать у него документы. Тем не менее у Владимира Мироновича моментально сделались полотняные какие-то неприятные глаза, и искоса он кинул предательский взгляд, чтобы убедиться, не удрал ли инженер. Но серая фигура виднелась на скамейке. Все-таки поведение инженера было в высшей степени странно.

— Ладно, — шепнул Берлиоз, и лицо его постарело.

Приятели вернулись к скамейке, и тут же изумление овладело Владимиром Мироновичем.

Незнакомец стоял у скамейки и держал в протянутой руке визитную карточку.

— Простите мою рассеянность, досточтимый Владимир Миронович. Увлекшись собеседованием, совершенно забыл рекомендовать себя вам, — проговорил незнакомец с акцентом.

Владимир Миронович сконфузился и покраснел.

«Или слышал, или уж больно догадлив, черт...» — подумал он.

— Имею честь, — сказал незнакомец и вынул карточку.

Смущенный Берлиоз увидел на карточке слова: «D-r Theodor Voland».

«Буржуйская карточка», — успел подумать Иванушка.

— В кармане у меня паспорт, — прибавил доктор Воланд, пряча карточку, — подтверждающий это.

— Вы — немец? — спросил густо-красный Берлиоз.

— Я? Да, немец! Именно немец! — так радостно воскликнул немец, как будто впервые от Берлиоза узнал, какой он национальности.

— Вы инженер? — продолжал опрос Берлиоз.

— Да! Да! Да! — подтвердил инженер, — я — консультант.

Лицо Иванушки приобрело глуповато-растерянное выражение.

— Меня вызуал, — объяснял инженер, причем начинал выговаривать слова все хуже... — я все устраиль...

— А-а... — очень почтительно и приветливо сказал Берлиоз, — это очень приятно. Вы, вероятно, специалист по металлургии?

— Не-ет, — немец помотал головой, — я по белой магии!

Оба писателя как стояли, так и сели на скамейку, а немец остался стоять.

— Там тшиновник так все запутал, так запутал.....

Он стал приплясывать рядом с Христом, выделывая ногами нелепые коленца и потрясая руками. Псы оживились, загавкали на него тревожно.

— Так бокал налитый... тост заздравный просит... — пел инженер и вдруг.................................

— А вы, почтеннейший Иван Николаевич, здорово верите в Христа. — Тон его стал суров, акцент уменьшился.

— Началась белая магия, — пробормотал Иванушка.

— Необходимо быть последовательным, — отозвался на это консультант. — Будьте добры, — он говорил вкрадчиво, — наступите ногой на этот портрет, — он указал острым пальцем на изображение Христа на песке[28].

— Просто странно, — сказал бледный Берлиоз.

— Да не желаю я! — взбунтовался Иванушка.

— Боитесь, — коротко сказал Воланд.

— И не думаю!

— Боитесь!

Иванушка, теряясь, посмотрел на своего патрона и приятеля.

Тот поддержал Иванушку:

— Помилуйте, доктор! Ни в какого Христа он не верит, но ведь это же детски нелепо доказывать свое неверие таким способом!

— Ну, тогда вот что! — сурово сказал инженер и сдвинул брови, — позвольте вам заявить, гражданин Бездомный, что вы — врун свинячий! Да, да! Да нечего на меня зенки таращить!

Тон инженера был так внезапно нагл, так странен, что у обоих приятелей на время отвалился язык. Иванушка вытаращил глаза. По теории нужно бы было сейчас же дать в ухо собеседнику, но русский человек не только нагловат, но и трусоват.

— Да, да, да, нечего пялить, — продолжал Воланд, — и трепаться, братишка, нечего было, — закричал он сердито, переходя абсолютно непонятным способом с немецкого на акцент черноморский, — трепло братишка. Тоже богоборец, антибожник. Как же ты мужикам будешь проповедовать?! Мужик любит пропаганду резкую — раз, и в два счета чтобы! Какой ты пропагандист! Интеллигент! У, глаза бы мои не смотрели!

Все что угодно мог вынести Иванушка, за исключением последнего. Ярость заиграла на его лице.

— Я интеллигент?! — обеими руками он трахнул себя в грудь, — я — интеллигент, — захрипел он с таким видом, словно Воланд обозвал его, по меньшей мере, сукиным сыном. — Так смотри же!! — Иванушка метнулся к изображению.

— Стойте!! — громовым голосом воскликнул консультант, — стойте!

Иванушка застыл на месте.

— После моего евангелия, после того, что я рассказал о Иешуа, вы, Владимир Миронович, неужто вы не остановите юного безумца?! А вы, — и инженер обратился к небу, — вы слышали, что я честно рассказал?! Да! — И острый палец инженера вонзился в небо. — Остановите его! Остановите!! Вы — старший!

— Это так глупо все!! — в свою очередь закричал Берлиоз, — что у меня уже в голове мутится! Ни поощрять его, ни останавливать я, конечно, не стану!

И Иванушкин сапог вновь взвился, послышался топот, и Христос разлетелся по ветру серой пылью.

И был час девятый.

— Вот! — вскричал Иванушка злобно.

— Ах! — кокетливо прикрыв глаза ладонью, воскликнул Воланд, а затем, сделавшись необыкновенно деловитым, успокоенно добавил: — Ну вот, все в порядке, и дочь ночи Мойра допряла свою нить[29].

— До свидания, доктор, — сказал Владимир Миронович, — мне пора.

Мысленно в это время он вспоминал телефоны РКИ...

— Всего добренького, гражданин Берлиоз, — ответил Воланд и вежливо раскланялся. — Кланяйтесь там! — Он неопределенно помахал рукой. — Да, кстати, Владимир Миронович, ваша матушка почтенная...............

...................................................................

«...Странно, странно все-таки, — подумал Берлиоз, — откуда он это знает... Дикий разговор... Акцент то появится, то пропадет. Ну, словом, прежде всего, телефон... Все это мы разъясним...»

Дико взглянув еще раз на сумасшедшего, Берлиоз стал уходить.

— Может быть, прикажете, я ей телеграммку дам? — вдогонку крикнул инженер. — Здесь телеграф на Садовой поблизости. Я бы сбегал?! А?

Владимир Миронович на ходу обернулся и крикнул Иванушке:

— Иван! На заседание не опаздывай! В девять с половиной ровно!

— Ладно, я еще домой забегу, — откликнулся Иванушка.

— Послушайте! Эй! — прокричал, сложив руки рупором, Воланд, — я забыл вам сказать, что есть еще [шестое доказательство, и оно сейчас будет вам предъявлено!..]............

Над Патриаршими же закат уже сладостно распускал свои паруса с золотыми крыльями, и вороны купались над липами перед сном. Пруд стал загадочен, в тенях. Псы во главе с Бимкой вереницей вдруг снялись и побежали не спеша следом за Владимиром Мироновичем. Бимка неожиданно обогнал Берлиоза, заскочил впереди него и, отступая задом, пролаял несколько раз. Видно было, как Владимир Миронович замахнулся на него угрожающе, как Бимка брызнул в сторону, хвост зажал между ногами и провыл скорбно.

— Даже богам невозможно милого им человека избавить!.. — разразился вдруг какими-то стихами сумасшедший, приняв торжественную позу и руки воздев к небу.

— Ну, мне надо торопиться, — сказал Иванушка, — а то я на заседание опоздаю.

— Не торопитесь, милейший, — внезапно, резко и окончательно меняясь, мощным голосом молвил инженер, — клянусь подолом старой сводни, заседание не состоится, а вечер чудесный. Из помоек тянет тухлым, чувствуете жизненную вонь гнилой капусты? Горожане варят бигос... Посидите со мной...

И он сделал попытку обнять Иванушку за талию.

— Да ну вас, ей-Богу! — нетерпеливо отозвался Иванушка и даже локоть выставил, спасаясь от назойливой ласки инженера. Он быстро двинулся и пошел.

Долгий нарастающий звук возник в воздухе, и тотчас из-за угла дома с Садовой на Бронную вылетел вагон трамвая. Он летел и качался, как пьяный, вертел задом и приседал, стекла в нем дребезжали, а над дугой хлестали зеленые молнии.

У турникета, выводящего на Бронную, внезапно осветилась тревожным светом таблица, и на ней выскочили слова «Берегись трамвая!».

— Вздор! — сказал Воланд, — ненужное приспособление, Иван Николаевич, — случая еще не было, чтобы уберегся от трамвая тот, кому под трамвай необходимо попасть! .....................................

Трамвай проехал по Бронной. На задней площадке стоял Пилат, в плаще и сандалиях, держал в руках портфель.

«Симпатяга этот Пилат, — подумал Иванушка, — псевдоним Варлаам Собакин[30]...»

Иванушка заломил картузик на затылок, выпустил [рубаху], как сапожками топнул, двинул мехи баяна, вздохнул семисотрублевый баян и грянул:

Как поехал наш Пилат
На работу в Наркомат.
Ты-гар-га, маты-гарга!

— Трр!.. — отозвался свисток.

Суровый голос послышался:

— Гражданин! Петь под пальмами не полагается. Не для того сажали их.

— В самом деле. Не видал я пальм, что ли, — сказал Иванушка, — да ну их к лысому бесу. Мне бы у Василия Блаженного на паперти сидеть...

И точно, учинился Иванушка на паперти. И сидел Иванушка, погромыхивая веригами, а из храма выходил страшный грешный

человек: исполу — царь, исполу — монах[31]. В трясущейся руке держал посох, острым концом его раздирал плиты. Били колокола. Таяло.

— Студные дела твои, царь, — сурово сказал ему Иванушка, — лют и бесчеловечен, пьешь губительные обещанные диаволом чаши, вселукавый мних. Ну, а дай мне денежку, царь Иванушка, помолюся ужо за тебя.

Отвечал ему царь, заплакавши:

— Почто пужаешь царя, Иванушка. На тебе денежку, Иванушка-верижник, Божий человек, помолись за меня!

И звякнули медяки в деревянной чашке.

Завертелось все в голове у Иванушки, и ушел под землю Василий Блаженный. Очнулся Иван на траве в сумерках на Патриарших Прудах, и пропали пальмы, а на месте их беспокойные коммуны уже липы посадили.

— Ай! — жалобно сказал Иванушка, — я, кажется, с ума сошел! Ой, конец...

Он заплакал, потом вдруг вскочил на ноги.

— Где он? — дико вскричал Иванушка, — держите его, люди! Злодей! Злодей! Куси, куси, куси. Банга, Банга!

Но Банга исчез.

На углу Ермолаевского неожиданно вспыхнул фонарь и залил улицу, и в свете его Иванушка увидел уходящего Воланда.

— Стой! — прокричал Иванушка и одним взмахом перебросился через ограду и кинулся догонять.

Весьма отчетливо он видел, как Воланд повернулся и показал ему фигу. Иванушка наддал и внезапно очутился У Мясницких ворот, у почтамта. Золотые огненные часы показали Иванушке половину десятого. Лицо Воланда в ту же секунду высунулось в окне телеграфа. Завыв, Иванушка бросился в двери, завертелся в зеркальной вертушке и через нее выбежал в Савельевский переулок, что на Остоженке, и в нем увидел Воланда, тот, раскланявшись с какой-то дамой, вошел в подъезд. Иванушка за ним, двинул в дверь, вошел в вестибюль. Швейцар вышел из-под лестницы и сказал:

— Зря приехали, граф Николай Николаевич к Боре в шахматы ушли играть. С вашей милости на чаек... Каждую среду будут ходить.

И фуражку снял с галуном.

— Застрелю! — завыл Иванушка, — с дороги, арамей!

Он взлетел во второй этаж и рассыпным звонком наполнил всю квартиру. Дверь тотчас открыл самостоятельный ребенок лет пяти. Иванушка вбежал в переднюю, увидел в ней бобровую шапку на вешалке, подивился — зачем летом бобровая шапка, ринулся в коридор, крюк в ванной на двери оборвал, увидел в ванне совершенно голую даму с золотым крестом на груди и с мочалкой в руке. Дама так удивилась, что не закричала даже, а сказала:

— Оставьте это, Петрусь, мы не одни в квартире, и Павел Димитриевич сейчас вернется.

— Каналья, каналья, — ответил ей Иванушка и выбежал на Каланчевскую площадь. Воланд нырнул в подъезд оригинального дома.

«Так его не поймаешь», — сообразил Иванушка, нахватал из кучи камней и стал садить ими в подъезд. Через минуту он забился трепетно в руках дворника сатанинского вида.

— Ах ты, буржуазное рыло, — сказал дворник, давя Иванушкины ребра, — здесь кооперация, пролетарские дома. Окна зеркальные, медные ручки, штучный паркет, — и начал бить Иванушку, не спеша и сладко.

— Бей, бей! — сказал Иванушка, — бей, но помни! Не по буржуазному рылу лупишь, по пролетарскому. Я ловлю инженера, в ГПУ его доставлю.

При слове «ГПУ» дворник выпустил Иванушку, на колени стал и сказал:

— Прости, Христа ради, распятого же за нас при Понтийском Пилате. Запутались мы на Каланчевской, кого не надо лупим...

Надрав из его бороды волосьев, Иванушка скакнул и выскочил на набережной Храма Христа Спасителя. Приятная вонь поднималась с Москвы-реки вместе с туманом. Иванушка увидел несколько человек мужчин. Они снимали с себя штаны, сидя на камушках. За компанию снял и Иванушка башмаки, носки, рубаху и штаны. Снявши, посидел и поплакал, а мимо него в это время бросались в воду люди и плавали, от удовольствия фыркая. Наплакавшись, Иванушка поднялся и увидел, что нет его носков, башмаков, штанов и рубахи.

«Украли, — подумал Иванушка, — и быстро, и незаметно...»

Над Храмом в это время зажглась звезда[32], и побрел Иванушка в одном белье по набережной, запел громко:

В моем саду растет малина...
А я влюбилась в сукиного сына!

В Москве в это время во всех переулках играли балалайки и гармоники, изредка свистали в свистки, окна были раскрыты и в них горели оранжевые абажуры...

— Готов, — сказал чей-то бас.

# МАНИЯ ФУРИБУНДА
## *(Глава из романа «Копыто инженера»)*

Писательский ресторан, помещавшийся в городе Москве на бульваре, как раз насупротив памятника знаменитому поэту Александру Ивановичу Житомирскому, отравившемуся в 1933 году осетриной, носил дикое название «Шалаш Грибоедова».

«Шалашом» его почему-то прозвал известный всей Москве необузданный лгун Козобоев — театральный рецензент, в день открытия ресторана напившийся в нем до положения риз.

Всегда у нас так бывает, что глупое слово точно прилипнет к человеку или вещи, как ярлык. Черт знает, почему «шалаш»?! Возможно, что сыграли здесь роль давившие на алкоголические полушария проклятого Козобоева низкие сводчатые потолки ресторана. Неизвестно. Известно, что вся Москва стала называть ресторан «Шалашом».

А не будь Козобоева, дом, в коем помещался ресторан, носил бы свое официальное и законное название «Дом Грибоедова», вследствие того, что, если опять-таки не лжет Козобоев, дом этот не то принадлежал тетке Грибоедова, не то в нем проживала племянница знаменитого драматурга. Впрочем, кажется, никакой тетки у Грибоедова не было, равно так же как и племянницы. Но это и не суть важно. Народный комиссариат просвещения, терзаемый вопросом об устройстве дел и жизни советских писателей, количество коих к тридцатым годам поднялось до угрожающей цифры 4500 человек, из них 3494 проживали в городе Москве, а шесть человек в Ленинграде.......................................

..............................................

---

**notes**

# Сноски внутри текста

## 1

Римскому войску страх не известен *(лат.)*.

**2**

«Закон Апулея об оскорблении величества» *(лат.)*.

## 3

Государственная измена *(лат.)*.

**4**

Ничтожные крики толпы не страшны *(лат.)*.

## 5

О племя греховнейшее, отвратительнейшее племя! О зловоние иудейское! *(лат.)*

## 6

Не имеем царя, кроме Кесаря! *(лат.)*

**7**

По приказанию Тиберия! *(лат.)*

## 8

Иисус Назарет по приказанию Тиберия прокуратором Понтием Пилатом будет казнен! *(лат.)*

**9**

Свершилось *(греч.)*.

## КОПЫТО ИНЖЕНЕРА

***Черновики романа. Тетрадь 2. 1928—1929 гг.***

## 1

*Черновики романа. Тетрадь 2. 1928—1929 гг.* — Глава первая — «Пристают на Патриарш[их]», — к сожалению, не сохранила ни одного целого листа с текстом — все оборваны. Но из оставшихся обрывков видно, что это — расширенный вариант той же главы первой редакции, но без предисловия. Вновь повествование идет от имени автора, пускающегося иногда в любопытнейшие сравнения. Так, записанные в деле № 7001 отделения рабоче-крестьянской милиции «приметы» появившегося на прудах «иностранца» («нос обыкновенный... далее — особых [примет нет]...») никак не удовлетворяют рассказчика, и он начинает обыгрывать свои «особые» приметы и своих друзей («У меня, у Николая [Николаевича], у Павла Сергеевича...»), которые, конечно, отличаются «необыкновенностью». Вероятно, при прочтении этих мест романа в кругу близких знакомых на Пречистенке они вызывали веселье, и особенно у друзей писателя — Николая Николаевича Лямина и Павла Сергеевича Попова, подвергшихся столь пристальному изучению на предмет выявления у них «особых примет». Заметим попутно, что этот кусочек текста мгновенно воскрешает в памяти «особые приметы» главного героя пьесы Булгакова «Батум», поступившие из учреждения розыска: «Джугашвили. Телосложение среднее. Голова обыкновенная. Голос баритональный. На левом ухе родинка... Наружность... никакого впечатления не производит...»

Появление «незнакомца» на Патриарших Прудах совпало с моментом ехидного обсуждения писателями изображения Иисуса Христа, нарисованного Иванушкой. Вышел незнакомец из Ермолаевского переулка... И «нос у него был... все-таки горбатый». Рассказ Воланда о давно происшедших событиях начинается в этой же главе, причем особый интерес у незнакомца вызвал Иванушкин рисунок...

Глава вторая названия не сохранила: первый лист с текстом обрезан под корешок. К счастью, значительная часть листов этой главы остались целыми полностью. Из сохранившегося текста можно понять, что глава начинается с рассказа Воланда о заседании Синедриона.

Мелькают имена Каиафы, Иуды, Иоанна. Иуда Искариот совершает предательство. Каиафа благодарит Иуду за «предупреждение» и предостерегает его — «бойся Толмая». Примечательно, что сначала было написано «бойся фурибунды» (фурибунда — от *лат.* ярость), но затем Булгаков зачеркнул слово «фурибунда» и написал сверху «Толмая». Значит, судьба предателя Иуды была предрешена писателем уже в начале работы над романом.

Из других частей полууничтоженного текста можно воспроизвести сцену движения процессии на Лысый Череп. Булгаков, создавая эту картину, словно перебрасывал мостик к современности, показывая, что человек, выбравший путь справедливости, всегда подвергается гонениям. Замученный вконец под тяжестью креста, Иешуа упал, а упав, «зажмурился», ожидая, что его начнут бить. Но «взводный» (!), шедший рядом, «покосился на упавшего» и молвил: «Сел, брат?»

Подробно описывается сцена с Вероникой, которая, воспользовавшись оплошностью охранников, подбежала к Иешуа с кувшином, разжала «пальцами его рот» и напоила водой.

В заключение своего рассказа о страданиях Иешуа Воланд, обращаясь к писателям и указывая на изображение Иисуса Христа, говорит с иронией: «Вот этот са[мый]... но без пенсне...»

Следует заметить, что некоторые фрагменты текста, даже не оборванного, расшифровываются с трудом, ибо правлены они автором многократно, в результате чего стали «трехслойными». Но зато расшифровка зачеркнутых строк иногда позволяет прочитать любопытнейшие тексты.

Не исключено, что в первых редакциях романа в образе Пилата проявились некоторые черты Сталина. Дело в том, что вождь, навещая Художественный театр, иногда в беседах с его руководством сетовал, что ему трудно сдерживать натиск ортодоксальных революционеров и деятелей пролетарской культуры, выступающих против МХАТа и его авторов. Речь прежде всего шла о Булгакове, которому, разумеется, содержание бесед передавалось. Возникали некоторые иллюзии, которые стали рассеиваться позже. Так вот, ряд зачеркнутых фрагментов и отдельные фразы подтверждают, что Булгаков действительно верил в снисходительное отношение к нему со стороны вождя. Приведем наиболее характерные куски восстановленного

авторского текста: «Слушай, Иешуа Га-Ноцри, ты, кажется, себя убил сегодня... Слушай, можно вылечить от мигрени, я понимаю: в Египте учат и не таким вещам. Но ты сделай сейчас другую вещь, покажи, как ты выберешься из петли, потому что, сколько бы я ни тянул тебя за ноги из нее — такого идиота, — я не сумею этого сделать, потому что объем моей власти ограничен. Ограничен, как все на свете... Ограничен!! — истерически кричал Пилат».

Очевидно, понимая, что такой текст слишком откровенно звучит, Булгаков подредактировал его, несколько сглаживая острые углы, но сохраняя основную мысль о зависимости правителя от его окружения.

Таким образом, вторая глава существенно переработана автором в сравнении с ее первым вариантом. Но к сожалению, название ее так и не удалось выяснить.

Название третьей главы сохранилось — «Шестое доказательство» (по-видимому, «цензоров» этот заголовок удовлетворил). Эта глава менее других подверглась уничтожению, но все же в нескольких местах листы вырваны. К сожалению, почти под корешок обрезаны листы, рассказывающие о действиях Толмая по заданию Пилата. Но даже по небольшим обрывкам текста можно понять, что Толмай не смог предотвратить «несчастье» — «не уберег» Иуду.

Представляют немалый интерес некоторые зачеркнутые автором фразы. Так, в том месте, где Воланд рассуждает о толпе, сравнивая ее с чернью, Булгаков зачеркнул следующие его слова: «Единственный вид шума толпы, который признавал Пилат, это крики: „Да здравствует император!" Это был серьезный мужчина, уверяю вас». Тут же напрашивается сопоставление этой фразы Воланда с другой, сказанной им перед отлетом из «красной столицы» (из последней редакции): «У него мужественное лицо, он правильно делает свое дело, и вообще все кончено здесь. Нам пора!» Эта загадочная реплика Воланда, видимо, относилась к правителю той страны, которую он покидал. В устах сатаны она приобретала особый смысл. Следует заметить, что этот фрагмент текста до настоящего времени так и не вошел ни в одну публикацию романа, в том числе и в пятитомное собрание сочинений Булгакова.

К сожалению, конец главы также оборван, но лишь наполовину, поэтому смысл написанного достаточно легко воспроизвести. Весьма любопытно поведение Воланда после гибели Берлиоза (в других

редакциях этот текст уже не повторяется). Его глумление над обезумевшим от ужаса и горя Иванушкой, кажется, не имеет предела.

«— Ай, яй, яй, — вскричал [Воланд, увидев] Иванушку, — Иван Николаевич, такой ужас!..

— Нет, — прерывисто [заговорил Иванушка], — нет! Нет... стойте...»

Воланд выразил на лице притворное удивление. Иванушка же, придя в бешенство, стал обвинять иностранца в причастности к убийству Берлиоза и вопил: «Признавайтесь!» В ответ Воланд предложил Иванушке выпить валерьяновых капель и, продолжая издеваться, проговорил:

«— Горе помутило [ваш разум], пролетарский поэт... У меня слабость... Не могу выносить... ауфвидерзеен.

— [Зло]дей, [вот] кто ты! — глухо и [злобно прохрипел Иванушка]... К Кондрату [Васильевичу вас следует отправить]. Там разберут, [будь] покоен!

— [Какой] ужас, — беспомощно... и плаксиво заныл Воланд... Молодой человек... некому даже [сообщить], не разбираю здесь...»

И тогда Иванушка бросился на Воланда, чтобы сдать его в ПТУ.

«Тот тяжелой рукой [сдавил] Иванушкину кисть, и... он попал как бы в [капкан], рука стала наливаться... [об]висла, колени [задрожали]...

— Брысь, брысь отс[юда, — проговорил] Воланд, — да и... чего ты торчишь здесь... Не подают здесь... Божий человек... — [В голове] завертелось от таких [слов у] Иванушки, и он сел... И представились ему вокруг пальмы...»

Четвертая глава «Мания фурибунда» представляет собой отредактированный вариант главы «Интермедия в Шалаше Грибоедова» из первой редакции. Булгаков подготовил эту главу для публикации в редакции сборников «Недра» и сдал ее 8 мая 1929 г. Это единственная точная дата, помогающая установить приблизительно время работы над двумя первыми редакциями романа.

Сохранилось также окончание седьмой главы (обрывки листов с текстом), которая в первой редакции называлась «Разговор по душам».

Можно с уверенностью сказать, что вторая редакция включала по крайней мере еще одну тетрадь с текстом, поскольку чудом сохранились узкие обрывки листов, среди которых есть начало главы пятнадцатой, называвшейся «Исналитуч...». Следовательно, были и

другие главы. Видимо, именно эти тетради и были сожжены Булгаковым в марте 1930 г.

## 2

*[Евангелие от Воланда]*. — Условное название второй главы второй черновой редакции романа, поскольку лист текста с названием главы вырезан ножницами.

## 3

— *Гм, — сказал секретарь.* — С этой фразы начинается текст второй главы романа. До этого, как видно из сохранившихся обрывков вырванных листов, описывалось заседание Синедриона, на котором Иуда давал показания против Иешуа. Вероятно, Булгаков использовал при этом различные исторические источники, но из рабочих материалов сохранились лишь отдельные записи. Очевидно, они были уничтожены вместе с рукописями. Но существуют более поздние записи писателя, касающиеся заседания Синедриона, решавшего судьбу Иешуа: «...был приведен в синедрион, но не в Великий, а в Малый, состоявший из 23 человек, где председательствовал первосвященник Иосиф Каиафа». Эта выписка была сделана Булгаковым из книги Г. Древса «История евреев от древнейших времен до настоящего» (Одесса, 1905. Т. 4. С. 226).

# 4

— *Вы хотели в Ершалаиме царствовать? — спросил Пилат по-римски.* — Смысл вопроса соответствует евангельским повествованиям. «Иисус же стал перед правителем. И спросил Его правитель: Ты Царь Иудейский?» (Матфей, XXVII, 11). Согласно Евангелиям от Матфея, Марка и Луки, Иисус Христос на допросе Пилата молчал. Однако в повествованиях Евангелия от Иоанна Иисус Христос отвечал на вопросы Пилата. Булгаков при описании данного сюжета взял за основу именно Евангелие от Иоанна, но трактовал его вольно, сообразуясь со своими творческими идеями.

## 5

*Слова он знал плохо.* — Добиваясь точности в изложении исторических деталей, Булгаков уделяет большое внимание языкам, на которых говорили в те времена в Иудее. В черновых материалах можно прочесть, например, такие записи: «Какими языками владел Иешуа?», «Спаситель, вероятно, говорил на греческом языке...» *(Фаррар Ф. В.* Жизнь Иисуса Христа. М., 1888. С. 111), «Мало также вероятно, что Иисус знал по-гречески» *(Ренан Ж. Э.* Жизнь Иисуса. СПб.: Изд-во Н. Глаголева. С. 88), «На Востоке роль распространителя алфавита играл арамейский язык...», «Арамейский язык... во времена Христа был народным языком, и на нем были написаны некоторые отрывки из Библии...». Поскольку официальным языком в римских провинциях была латынь, Пилат (речь идет о ранней редакции романа) начинает допрос на латыни, однако, убедившись, что Иисус плохо владеет ею, переходит на греческий, который также использовался римскими чиновниками в Иудее. В позднейших редакциях романа Пилат, выясняя грамотность арестованного, обращается к нему сначала на арамейском, через некоторое время переходит на греческий и, наконец, убедившись в блестящей эрудиции допрашиваемого, использует латынь.

**6**

*Иешуа* (в других редакциях Ешуа) — сокращенная форма имени Иегошуа, которое означает «Яхве есть спасение». Иисус — грецизированная форма имени Иешуа.

## 7

*...тысяча девятьсот лет пройдет...* — В следующей редакции: «...две тысячи лет пройдет, ранее... (он подумал еще), да, именно две тысячи, пока люди разберутся в том, насколько напутали, записывая за мной». В последней редакции: «Я вообще начинаю опасаться, что путаница эта будет продолжаться очень долгое время».

## 8

*...ходит он с записной книжкой и пишет... этот симпатичный...* — В материалах к роману есть весьма любопытная выписка: «Левий Матвей и Мария. Так же последователем был богатый мытарь, которого источники называют то Матфеем, то Леви и в доме которого Иешуа постоянно жил и вернулся с товарищами из самого презренного класса. К его последователям принадлежали и женщины сомнительной репутации, из которых наиболее известна Мария Магдалина (из города Магдалы — Торихен близ Тивериады)... Гретц. История евреев. Том IV. С. 217».

## 9

С. 57. *О, Каиафа...* — Иосиф Каиафа (у Булгакова в окончательной редакции — Кайфа) — первосвященник с 18 г. н. э. (по другим сведениям, с 25 г. н. э.). В 36 г. н. э. смещен с должности сирийским легатом Вителлием.

## 10

— *Quid est veritas?* — Далее в черновике:

«— Ты все, игемон, сидишь в кресле во дворце, — сказал арестант, — и оттого у тебя мигрени, а у меня как раз свободный день, и я тебе предлагаю — пойдем со мной на луга, я тебе расскажу подробно про истину, и ты сразу поймешь...

В зале уж не только не молчали, но даже не шевелились. После паузы Пилат сказал так:

— Спасибо, дружок, за приглашение, но у меня нет времени, к сожалению... К сожалению, — повторил Пилат. — Великий Кесарь будет недоволен, если я начну ходить по лугам... Черт возьми! — воскликнул Пилат.

— А я тебе, игемон, — сказал Иешуа участливо, — посоветовал бы поменьше употреблять слово „черт".

— Не буду, — сказал Пилат, — черт возьми, не буду...»

## 11

— *Супруга его превосходительства Клавдия Прокула*... — В Евангелии от Матфея: «Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: не делай ничего Праведнику Тому, потому что я ныне во сне много пострадала за Него» (XXVII, 19). За ходатайство перед судом прокуратора Клавдия Прокула была причислена греческой, коптской и эфиопской церквами к лику святых.

## 12

*...и вам, ротмистр, следует знать...* — Ротмистр — офицерское звание в дореволюционной русской кавалерии, соответствовало званию капитана в пехоте. Разумеется, Булгаков записал это звание условно.

## 13

*...в Кесарии Филипповой при резиденции прокуратора...* — Кесария Филиппова — город на севере Палестины, в тетрархии Ирода Филиппа, который построил его в честь кесаря Тиберия. О Кесарии Филипповой в Евангелии от Матфея сказано: «Пришед же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» (XVI, 13).

Если в 1929 г. Булгаков полагал, что резиденция Пилата находилась в Кесарии Филипповой, то в последующие годы он стал сомневаться в этом, о чем есть следующая запись в тетради: «В какой Кесарии жил прокуратор? Отнюдь не в Кесарии Филипповой, а в Кесарии Палестинской или же Кесарии со Стратоновой башней, на берегу Средиземного моря». И в окончательной редакции романа Пилат уже говорит о «Кесарии Стратоновой на Средиземном море».

## 14

*«Корван, корван»...* — Очевидно, имеется в виду иудейский термин «корвана» — один из видов жертвоприношения, по-арамейски «жертвенный дар».

Но термин этот имел и другие значения. Так, у Ф. В. Фаррара читаем: «По-вашему, вместо того, чтобы почитать отца и мать, достаточно человеку внести в сокровищницу сумму, назначенную на их содержание, и сказать: это *корван*, т. е. дар Богу, и этим избавиться от всяких обязательств по отношению к родителям» *(Фаррар Ф. В.* С. 221).

## 15

*...в двадцать пять лет такое легкомыслие!* — В рукописи-автографе было сначала «тридцать лет». В Евангелии от Луки говорится: «Иисус, начиная Свое служение, был лет тридцати...» (III, 23). В последней редакции романа Иисусу Христу двадцать семь лет.

## 16

*...страшный нисан выдался...* — Нисанну, нисан — по вавилонскому календарю, которым пользовались тогда в Палестине, весенний месяц, соответствующий марту-апрелю.

## 17

*...помнишь, как я хотел напоить водою Ершалаим из Соломоновых прудов?* — Видимо, Булгаков опирается на следующее замечание Фаррара: «Иерусалим, по-видимому, всегда, а особенно в то время страдал от недостатка воды. Чтобы помочь этому, Пилат предпринял устройство водопровода, посредством которого вода могла бы быть проведена из „прудов Соломоновых". Считая это предприятие делом общественной пользы, он дал распоряжение, чтобы часть расходов уплачивалась из „корвана" или священной сокровищницы. Но народ, узнав об этом распоряжении, пришел в ярость и восстал против употребления священного фонда на гражданское дело. Раздраженный оскорблениями и угрозами толпы, Пилат выслал в эту толпу переодетых в еврейские одежды римских воинов с мечами и кинжалами, скрытыми под платьем, которые по данному сигналу должны были наказать вожаков мятежной толпы.

После того как иудеи отказались разойтись, сигнал был дан, воины, не щадя ни правого, ни виновного, принялись с таким усердием исполнять свое дело, что множество людей было ранено и убито, а еще более задавлено...» (*Фаррар Ф.В.* С. 441).

Пилат напоминает первосвященнику об этом побоище иудеев, угрожая его повторить с еще большей силой.

## 18

— *Он [другое] услышит, Каиафа!* — Далее в черновике: «Полетит сегодня телеграмма (так в тексте. — *В. Л.)*, да не в Рим, а прямо на Капри. Я! Понтий! Подниму тревогу. И хлебнешь ты у меня, Каяфа, хлебнет город Ершалаим уж не воды Соломоновой, священник...

— Знаю тебя, всадник Понтий, — сказал Каяфа. — Только не осторожен ты...

— Ну ладно, — молвил Пилат. — Кстати, первосвященник, агентура у тебя очень хороша. В особенности мальчуган этот, сыщик из Кериот. Здоров ли он? Ты его береги, смотри.

— Другого наймем, — с полуслова понимавший наместника, молвил Каяфа.

— О gens sceleratissima, taeterrima gens! — вскричал Пилат. — О foetor judaicus!

— Уйду, всадник, если ты еще одно слово оскорбительное произнесешь, и не выйду на лифостротон, — и стал Каяфа бледен как мрамор.

Пилат возвел взор и увидел раскаленный шар в небе».

## 19

*...не выйду на гаввафу.* — Гаввафа — еврейское название лифостротона (каменного помоста, возвышения).

## 20

*...и слова его греческие полетели над несметной толпой.* — Далее в черновике: «...за что и будет Га-Ноцри казнен сегодня! Я утвердил приговор великого Синедриона.

Гул прошел над толпой, но наместник вновь поднял руку, и стало слышно до последнего звука. И опять над сверкающим золотом и над разожженным Ершалаимом полетели слова:

— Второму преступнику, осужденному вчера за такое же преступление, как и первый, именно — Вар-Равван, по неизреченной милости Кесаря всемогущего, согласно закону, возвращается жизнь в честь Пасхи, чтимой Кесарем.

И опять взорвало ревом толпу... И опять рука потушила рев:

— Командиры манипулов, к приговору!

И запели голоса взводных в манипулах, стеной отделяющих гаввафу от толпы:

— Смирно!

И тотчас вознеслись в копейном лесу охапки сена и римские, похожие на ворон, орлы».

## 21

*...и в нем пропал.* — В этом месте вырвано шесть листов. По сохранившимся «корешкам» с текстом можно установить, что далее описывается путь Иешуа на Лысый Череп.

## 22

*...маленькая черная лошадь мчит из Ершалаима к Черепу...* — Череп или Лысый Череп — Голгофа, что значит по-арамейски «череп». Латинское название «кальвариум» происходит от слова calvus («лысый»). Голгофа — гора к северо-западу от Иерусалима. В рабочей тетради Булгакова замечено: «Лысая Гора, Череп, к северо-западу от Ершалаима. Будем считать в расстоянии 10 стадий от Ершалаима. Стадия! 200 стадий — 36 километров».

## 23

*...травильный дог Банга...* — Л. Е. Белозерская в своих воспоминаниях пишет, что своего домашнего пса они называли Бангой.

## 24

— *Здравствуйте, Толмай...* — В последующих редакциях — Афраний.

## 25

*...у подножия Иродова дворца...* — дворец в Иерусалиме, построенный Иродом Великим на западной границе города. Был вместе с тем и сильной крепостью.

**26**

*Владимир Миронович* — он же Михаил Александрович Берлиоз.

## 27

— *Кстати, некоторые главы из вашего евангелия я бы напечатал в моем «Богоборце»...* — Такого журнала не существовало, но Союз воинствующих безбожников, образовавшийся в 1925 г., имел такие периодические издания, как газета «Безбожник», журналы «Безбожник», «Антирелигиозник», «Воинствующий атеизм», «Безбожник у станка», «Деревенский безбожник», «Юные безбожники» и др.

## 28

*...наступите ногой на этот портрет, — он указал острым пальцем на изображение Христа на песке.* — Эпизод этот был одним из главных в романе. Но по цензурным соображениям писателю пришлось его изъять. Булгаков не сомневался, конечно, в способностях «цензоров» и «критиков» быстренько отыскать истинный смысл, заключенный в предложении консультанта (с копытом!) разметать рисунок на песке. Для этого им достаточно было вспомнить содержание рассказа довольно популярного писателя-мистика Н. П. Вагнера («Кот-Мурлыка») — «Мирра». И тогда поединок «иностранца» с Иванушкой предстал бы перед ними в более ясных очертаниях. Мы указываем на это сочинение Н. П. Вагнера не только потому, что оно является ключом к разгадыванию важнейшего эпизода в романе, но и потому, что многие произведения этого писателя занимали видное место в творческой лаборатории Булгакова. И вновь подчеркнем: исследователи-булгаковеды практически не касались этой важнейшей темы.

## 29

*...и дочь ночи Мойра допряла свою нить.* — В древнегреческой мифологии мойры — три богини судьбы, дочери Зевса и Фемиды (в мифах архаической эпохи считались дочерьми богини Ночи). Клото пряла нить жизни, Лахесис проводила ее через все превратности судьбы, Атропос в назначенный час обрезала жизненную нить.

## 30

*«Симпатяга этот Пилат, — подумал Иванушка, — псевдоним Варлаам Собакин...»* — В послании Ивана Грозного игумену Кирилло-Белозерского монастыря Козме с братией, написанном по поводу грубого нарушения устава сосланными в монастырь боярами, есть слова: «Есть у вас Анна и Каиафа — Шереметев и Хабаров, и есть Пилат — Варлаам Собакин, и есть Христос распинаемый — чудотворцево предание презираемое». Шереметев и Хабаров — опальные бояре, Варлаам — в миру окольничий (2-й чин Боярской думы) Собакин Василий Меньшой Степанович.

## 31

...а *из храма выходил страшный грешный человек: исполу — царь, исполу — монах.* — Иван Васильевич Грозный (1530-1584), с 1533 г. — великий князь, с 1547 г. — первый русский царь.

**32**

*Над Храмом в это время зажглась звезда...* — Первоначально было: «Над Храмом в это время зажглась рогатая луна, и в лунном свете побрел Иванушка...» Страшные и пророческие слова писателя, предвидевшего судьбу Храма Христа Спасителя.